*30.04.2022*

*Тема. Айтматов Ч. И дольше века длится день (Легенда о манкуртах). Постановка общечеловеческих и религиозно-нравственных проблем в произведении. Тема памяти и преемственности поколений в творчестве писателя.*

*Цели. Познакомиться с произведением Чингиза Айтматова. Задуматься о вопросах, поднятых писателем.*

*Содержание.*

*Прочитайте легенду о манкурте.*

У кладбища Ана-Бейит была своя история. Предание начиналось с того, что жуаньжуаны, захватив-шие сарозеки в прошлые века, исключительно жестоко обращались с пленными воинами. При случае они продавали их в рабство в соседние края, и это считалось счастливым исходом для пленного, ибо проданный раб рано или поздно мог бежать на родину. Чудовищная участь ждала тех, кого жуаньжуа-ны оставляли у себя в рабстве. Они уничтожали память раба страшной пыткой — надеванием на голову жертвы шири. Обычно эта участь постигала молодых парней, захваченных в боях. Сначала им начисто обривали головы, тщательно выскабливали каждую волосинку под корень. К тому времени, когда заканчивалось бритье головы, опытные убойщики-жуаньжуаны забивали поблизости матерого верблюда. Освежевывая верблюжью шкуру, первым долгом отделяли ее наиболее тяжелую, плотную выйную часть. Поделив выю на куски, ее тут же в парном виде напяливали на обритые головы пленных вмиг прилипающими пластырями — наподобие современ-ных плавательных шапочек. Это и означало надеть шири. Тот, кто подвергался такой процедуре, либо умирал, не выдержав пытки, либо лишался на всю жизнь памяти, превращался в манкурта — раба, не помнящего своего прошлого. Выйной шкуры одного верблюда хватало на пять-шесть шири. После надевания шири каждого обреченного заковывали деревянной шейной колодой, чтобы испытуемый не мог прикоснуться головой к земле. В этом виде их отвозили подальше от людных мест, чтобы не доносились понапрасну их душераздирающие крики, и бросали там в открытом поле, со связанными руками и ногами, на солнцепеке, без воды и без пищи. Пытка длилась несколько суток. Лишь усиленные дозоры стерегли в определенных местах подходы на тот случай, если соплеменники плененных попытались бы выручить их, пока они живы. Но такие попытки предпринимались крайне редко, ибо в открытой степи всегда заметны любые передвижения. И если впоследствии доходил слух, что такой-то превращен жуаньжуанами в манкурта, то даже самые близкие люди не стремились спасти или выкупить его, ибо это значило вернуть себе чучело прежнего человека. И лишь одна мать найманская, оставшаяся в предании под именем Найман-Ана, не примирилась с подобной участью сына. Об этом рассказывает сарозекская легенда. И отсюда название кладбища Ана-Бейит

— Материнский упокой.

Брошенные в поле на мучительную пытку в большинстве своем погибали под сарозекским солнцем. В живых оставались один или два манкурта из пяти-шести. Погибали они не от голода и даже не от жажды, а от невыносимых, нечеловеческих мук, причиняемых усыхающей, сжимающейся на голове сыромятной верблюжьей кожей. Неумолимо сокращаясь под лучами палящего солнца, шири стискивало, сжимало бритую голову раба подобно железному обручу. Уже на вторые сутки начинали прорастать обритые волосы мучеников. Жесткие и прямые азиатские волосы иной раз врастали в сыромятную кожу, в большинстве случаев, не находя выхода, волосы загибались и снова уходили концами в кожу головы, причиняя еще большие страдания. Последние испытания сопрово-ждались полным помутнением рассудка. Лишь на пятые сутки жуаньжуаны приходили проверить, выжил ли кто из пленных. Если заставали в живых хотя бы одного из замученных, то считалось, что цель достигнута. Такого поили водой, освобождали от оков и со временем возвращали ему силу, поднимали на ноги. Это и был раб-манкурт, насильно лишенный памяти и потому весьма ценный, стоивший десяти здоровых невольников. Существовало даже правило — в случае убийства раба-манкурта в междоусобных столкновениях выкуп за такой ущерб устанавливался в три раза выше, чем за жизнь свободного соплеменника.

Манкурт не знал, кто он, откуда родом-племенем, не ведал своего имени, не помнил детства, отца и матери — одним словом, манкурт не осознавал себя человеческим существом. Лишенный понимания собственного «я», манкурт с хозяйственной точки зрения обладал целым рядом преимуществ. Он был равнозначен бессловесной твари и потому абсолютно покорен и безопасен. Он никогда не помышлял о бегстве. Для любого рабовладельца самое страшное — восстание раба. Каждый раб потенциально мятежник. Манкурт был единственным в своем роде исключением — ему в корне чужды были побуждения к бунту, неповиновению. Он не ведал таких страстей. И поэтому не было необходимости стеречь его, держать охрану и тем более подозревать в тайных замыслах. Манкурт, как собака, признавал только своих хозяев. С другими он не вступал в общение. Все его помыслы сводились к утолению чрева. Других забот он не знал. Зато порученное дело исполнял слепо, усердно, неуклонно. Манкуртов обычно заставляли делать наиболее грязную, тяжкую работу или же приставляли их к самым нудным, тягостным занятиям, требующим тупого терпения. Только манкурт мог выдерживать в одиночестве бесконечную глушь и безлюдье сарозеков, находясь неотлучно при отгонном верблюжьем стаде. Он один на таком удалении заменял множество работников. Надо было всего-то снабжать его пищей — и тогда он бессменно пребывал при деле зимой и летом, не тяготясь одичанием и не сетуя на лишения. Повеление хозяина для манкурта было превыше всего. Для себя же, кроме еды и обносков, чтобы только не замерзнуть в степи, он ничего не требовал…

Куда легче снять пленному голову или причинить любой другой вред для устрашения духа, нежели отбить человеку память, разрушить в нем разум, вырвать корни того, что пребывает с челове-ком до последнего вздоха, оставаясь его единственным обретением, уходящим вместе с ним и недоступ-ным для других. Но кочевые жуаньжуаны, вынесшие из своей кромешной истории самый жестокий вид варварства, посягнули и на эту сокровенную суть человека. Они нашли способ отнимать у рабов их живую память, нанося тем самым человеческой натуре самое тяжкое из всех мыслимых и немыслимых злодеяний. Не случайно ведь, причитая по сыну, превращенному в манкурта, Найман-Ана сказала в исступленном горе и отчаянии:

«Когда память твою отторгли, когда голову твою, дитя мое, ужимали, как орех клещами, стягивая череп медленным воротом усыхающей кожи верблюжьей, когда обруч невидимый на голову насадили так, что глаза твои из глазниц выпирали, налитые сукровицей страха, когда на бездымном костре сарозеков предсмертная жажда тебя истязала и не было капли, чтобы с неба на губы упала, — стало ли солнце, всем дарующее жизнь, для тебя ненавистным, ослепшим светилом, самым черным среди всех светил в мире?

Когда, раздираемый болью, твой вопль истошно стоял средь пустыни, когда ты орал и метался, взывая к богу днями, ночами, когда ты помощи ждал от напрасного неба, когда, задыхаясь в блевотине, исторгаемой муками плоти, и корчась в мерзком дерьме, истекавшем из тела, перекручен-ного в судорогах, когда угасал ты в зловонии том, теряя рассудок, съедаемый тучей мушиной,проклял ли ты из последних сил бога, что сотворил всех нас в покинутом им самим мире?

Когда сумрак затмения застилал навсегда изувеченный пытками разум, когда память твоя, разъятая силой, неотвратимо теряла сцепления прошлого, когда забывал ты в диких метаниях взгляд матери, шум речки подле горы, где играл ты летними днями, когда имя свое и имя отца ты утратил в сокрушенном сознании, когда лики людей, среди которых ты вырос, померкли и имя девицы померкло, что тебе улыбалась стыдливо, — разве не проклял ты, падая в бездну беспамятства, мать свою страшным проклятьем за то, что посмела зачать тебя в чреве и родить на свет божий для этого дня?..»

История эта относилась к тем временам, когда, вытесненные из южных пределов кочевой Азии, жуаньжуаны хлынули на север и, надолго завладев сарозеками, вели непрерывные войны с целью расширения владений и захвата рабов. На первых порах, пользуясь внезапностью нашествия, в прилегающих к сарозекам землях они взяли много пленных, в том числе женщин и детей. Всех их погнали в рабство. Но сопротивление чужеземному нашествию возросло. Начались ожесточенные столкновения. Жуаньжуаны не собирались уходить из сарозеков, а, напротив, стремились прочно утвердиться в этих обширных для степного скотоводства краях. Местные же племена не примирялись с такой утратой и считали своим правом и долгом рано или поздно изгнать захватчиков. Как бы то ни было, большие и малые сражения шли с переменным успехом. Но и в этих изнурительных войнах были моменты затишья.

В одно из таких затиший купцы, пришедшие с караваном товаров в найманские земли, рассказыва-ли, сидя за чаем, как минули они сарозекские степи без особых помех у колодцев со стороны жуаньжуанов, и упомянули о том, что встретили в сарозеках одного молодого пастуха при большом верблюжьем стаде. Купцы стали с ним разговор вести, а он оказался манкуртом. С виду здоровый, и не подумаешь никак, что такое с ним сотворено. Наверно, не хуже других был когда-то и речист и понятлив, и сам совсем молодой еще, только-только усы пробиваются, и обличьем недурен, а обмолвишься словом — вроде как вчера народился на свет, не помнит, бедняга, не знает имени своего, ни отца, ни матери, ни того, что с ним сделали жуаньжуаны, откуда сам родом, тоже не знает. О чем ни спро-сишь, молчит, ответит только «да», «нет», и все время за шапку держится, плотно надетую на голову. Хотя и грешно, но и над увечьем люди смеются. При этих словах посмеялись над тем, что, оказывается, бывают такие манкурты, у которых верблюжья кожа местами навсегда прирастает к голове. Для такого манкурта хуже любой казни, если припугнуть: давай, мол, отпарим твою голову. Будет биться, как дикая лошадь, но к голове не даст притронуться. Такие шапку не снимают ни днем, ни ночью, в шапке спят… И, однако, продолжали гости, дурак дураком, но дело свое манкурт соблюдал — зорко следил, пока караванщики не удалились достаточно от того места, где бродило его стадо верблюдов. А один погонщик решил разыграть на прощание того манкурта:

— Путь далекий у нас впереди. Кому привет передать, какой красавице, в какой стороне? Говори, не скрывай. Слышишь? Может, платок передать от тебя?

Манкурт долго молчал, глядя на погонщика, а потом проронил:

— Я каждый день смотрю на луну, а она на меня. Но мы не слышим друг друга… Там кто-то сидит…

При том разговоре присутствовала в юрте женщина, разливавшая чай купцам. То была Найман-Ана. Под этим именем осталась она в сарозекской легенде.

Найман-Ана виду не подала при заезжих гостях. Никто не заметил, как странно поразила ее вдруг эта весть, как изменилась она в лице. Ей хотелось поподробней порасспросить купцов о том молодом манкурте, но именно этого она испугалась — узнать больше, чем было сказано. И сумела промолчать, задавила в себе возникшую тревогу, как вскрикнувшую раненую птицу… Тем временем разговор в кругу зашел о чем-то другом, никому уже дела не было до несчастного манкурта, мало ли какие случаи бывают в жизни, а Найман-Ана все пыталась сладить со страхом, охватившим ее, унять дрожь в руках, словно бы она действительно придушила ту вскрикнувшую птицу в себе, и только пониже опустила на лицо черным траурный платок, давно уже ставший привычным на ее поседевшей голове.

Караван торговцев вскоре ушел своей дорогой. И в ту бессонную ночь Найман-Ана поняла, что не будет ей покоя, пока не разыщет в сарозеках того пастуха-манкурта и не убедится, что то не ее сын. Тягостная, страшная мысль эта вновь оживила в материнском сердце давно уже затаившееся в смутном предчувствии сомнение, что сын лег на поле брани… И лучше, конечно, было дважды похоронить его, чем так терзаться, испытывая неотступный страх, неотступную боль, неотступное сомнение.

Ее сын был убит в одном из сражений с жуаньжуанами в сарозекской стороне. Муж погиб годом раньше. Известный, прославленный был человек среди найманов. Потом сын отправился с первым походом, чтобы отомстить за отца. Убитых не полагалось оставлять на поле боя. Сородичи обязаны были привезти его тело. Но сделать это оказалось невозможно. Многие в той большой схватке видели, когда сошлись с врагом вплотную, как он упал, сын ее, на гриву коня и конь, горячий и напуганный шумом битвы, понес его прочь. И тогда он свалился с седла, но нога застряла в стремени, и он повис замертво сбоку коня, а конь, обезумевшим от этого еще больше, поволок на всем скаку его бездыханное тело в степь. Как назло, лошадь пустилась бежать во вражескую сторону. Несмотря на жаркий, кровопролитным бой, где каждый должен был быть в сражении, двое соплеменников кинулись вдогонку, чтобы вовремя перехватить понесшего коня и подобрать тело погибшего. Однако из отряда жуаньжуанов, находившегося в засаде в овраге, несколько верховых косоплетов с криками кинулись наперерез. Один из найманов был убит с ходу стрелой, а другой, тяжело раненный, повернул назад и, едва успел прискакать в снои ряды, здесь рухнул наземь. Случай этот помог найманам вовремя обнаружить в засаде отряд жуаньжуанов, который готовился нанести удар с фланга в самый решающий момент. Найманы спешно отступили, чтобы перегруппироваться и снова ринуться в бой. И, конечно, никому уже ме было дела до того, что сталось с их молодым ратиком, с сыном Найман-Аны… Раненый найман, тот, что успел прискакать к своим, рассказы-вал потом, что, когда они ринулись за ним вослед, конь, поволочивший ее сына, быстро скрылся из виду и неизвестном направлении…

Несколько дней подряд выезжали найманы на поиски тела. Но ни самого погибшего, ни его лошади, ни его оружия, никаких иных следов обнаружить не смогли. В том, что он погиб, ни у кого не оставалось сомнений. Даже будучи раненным, за эти дни он умер бы в степи от жажды или истек бы кровью. Погоревали, попричитали, что их молодой сородич остался непогребенным в безлюдных сарозеках. То был позор для всех. Женщины, голосившие в юрте Найман-Аны, упрекали своих мужей и братьев, причитая:

— Расклевали его стервятники, растащили его шакалы. Как же смеете вы после этого ходить в мужских шапках на головах!..

И потянулись для Найман-Аны пустые дни на опустевшей земле. Она понимала, на войне люди гибнут, но мысли о том, что сын остался брошенным на поле брани, что тело его не предано земле, не давали ей мира и покоя. Терзалась мать горькими, неиссякающими думами. И некому было их высказать, чтобы облегчить горе, и не к кому было обратиться, кроме как к самому богу…

Чтобы запретить себе думать об этом, она должна была убедиться собственными глазами в том, что сын был мертв. Кто тогда стал бы оспаривать волю судьбы? Больше всего смущало ее, что пропал бесследно конь сына. Конь не был сражен, конь в испуге бежал. Как всякая табунная лошадь, рано или поздно конь должен был вернуться к родным местам и притащить за собой труп всадника на стремени. И тогда, как ни страшно то было бы, искричалась, исплакалась, навылась бы она над останками и, раздирая лицо ногтями, все сказала бы о себе, горемычной и распроклятой, так, чтобы тошно стало богу на небе, если только понятлив он к иносказаниям. Но зато никаких сомнений не держала бы в душе и к смерти готовилась бы с холодным рассудком, ожидая ее в любой час, не цепляясь, не задерживаясь даже мысленно, чтобы продлить свою жизнь. Но тело сына так и не нашли, а лошадь не вернулась. Сомнения мучили мать, хотя соплеменники начали постепенно забывать об этом, ибо все утраты со временем притупляются и подлежат забвению… И только она, мать, не могла успокоиться и забыть. Мысли ее кружились все по тому же кругу. Что приключилось с лошадью, где остались сбруя, оружие — по ним хотя бы косвенно можно было бы установить, что сталось с сыном. Ведь могло случиться и так, что коня перехватили жуаньжуаны где-нибудь в сарозеках, когда он уже выбился из сил и дал себя поймать. Лишняя лошадь с доброй сбруей тоже добыча. Как же они поступили тогда с ее сыном, волочившимся на стремени, — зарыли в землю или бросили на растерзание степному зверью? А что, если вдруг он был жив, еще жив каким-то чудом? Добили ли они его и тем оборвали его муки, или бросили издыхать в чистом поле, или же?.. А вдруг?..

Конца не было сомнениям. И когда заезжие купцы обмолвились за чаепитием о молодом манкурте, повстречавшемся им в сарозеках, не подозревали они, что тем самым бросили искорку в изболевшую душу Найман-Аны. Сердце ее захолонуло в тревожном предчувствии. И мысль, что то мог оказаться ее пропавший сын, все больше, все настойчивей, все сильней завладевала ее умом и сердцем. Мать поняла, что не успокоится, пока, разыскав и увидев того манкурта, не убедится, что то не сын ее.

В тех полустепных предгорьях на летних стоянках найманов протекали небольшие каменистые речки. Всю ночь прислушивалась Найман-Ана к журчанию проточной воды. О чем говорила ей вода, так мало созвучная ее смятенному духу? Успокоения хотелось. Наслушаться, насытиться звуками бегущем влаги, перед тем как двинуться в глухое безмолвие сарозеков. Мать знала, как опасно и рискованно отправляться в сарозеки в одиночку, но не желала посвящать кого бы то ни было в задуманное дело. Никто бы этого не понял. Даже самые близкие не одобрили бы ее намерений. Как можно пуститься на поиски давно убитого сына? И если по какой-то случайности он остался жив и обращен в манкурта, то тем более бессмысленно разыскивать его, понапрасну надрывать сердце, ибо манкурт всего лишь внешняя оболочка, чучело прежнего человека…

Той ночью накануне выезда несколько раз выходила она из юрты. Долго всматривалась, вслушивалась, старалась сосредоточиться, собраться с мыслями. Полуночная луна стояла высоко над головой в безоблачном небе, обливая землю ровным молочно-бледным светом. Множество белых юрт, раскиданных в разных местах по подножиям увалов, были похожи на стаи крупных птиц, заночевавших здесь, у берегов шумливых речушек. Рядом с аулом, там, где располагались овечьи загоны, и дальше, в логах, где паслись табуны лошадей, слышались собачий лай и невнятные голоса людей. Но больше всего трогали Найман-Ану переклички поющих девушек, бодрствующих у загонов с ближнего края аула. Сама когда-то пела эти ночные песни… В этих местах стояли они каждое лето, сколько помнит, как привезли ее сюда невестой. Вся жизнь протекла в этих местах: и когда людно было в семье, когда ставили они здесь сразу четыре юрты — одну кухонную, одну гостиную и две жилых, — и потом, после нашествия жуаньжуанов, когда осталась одна…

Теперь и она покидала свою одинокую юрту… Еще с вечера снарядилась в путь. Запаслась едой и водой. Воды брала побольше. В двух бурдюках везла воду на случай, если не сразу удастся отыскать колодцы в сарозекских местах… Еще с вечера стояла на приколе поблизости от юрт верблюдица Акмая. Надежда и спутница ее. Могла ли она отважиться двинуться в сарозекскую глухомань, если бы не полагалась на силу и быстроту Акмаи! В том году Акмая оставалась яловой, отдыхала после двух родов и была в отличной верховой форме. Сухопарая, с крепкими длинными ногами, с упругими подошвами, еще не расшлепанными от непомерных тяжестей и старости, с прочной парой горбов и красиво посаженной на мускулистой шее сухой, ладной голо-вой, с подвижными, как крылья бабочки, легкими ноздрями, ухватисто забирающими воздух на ходу, белая верблюдица Акмая стоила целого стада. За такую скороходку в цвете сил давали десятки голов гулевого молодняка, чтобы потомство от нее получилось. То было последнее сокровище, золотая матка в руках Найман-Аны, последняя память ее прежнего богатства. Остальное разошлось, как пыль, смытая с рук. Долги, сорокадневные и годовые аши — поминки по погибшим… По сыну, на поиски которого собралась она из предчувствия, от непомерной тоски и горя, тоже уже были справлены недавно последние поминовения при большом стечении народа, всех найманов ближайшей округи.

На рассвете Найман-Ана вышла из юрты, уже готовая в путь. Выйдя, остановилась, перешагнув порог, прислонилась к двери, задумалась, окидывая взглядом спящий аул, перед тем как покинуть его. Еще стройная, еще сохранившая былую красоту Найман-Ана была подпоясана, как и полагалось в дальнюю дорогу. На ней были сапоги, шаровары, камзол без рукавов поверх платья, на плечах свободно свисающий плащ. Голову она повязала белым платком, стянув концы на затылке. Так решила в своих ночных раздумьях — уж коли надеется увидеть сына в живых, то к чему траур. А если не сбудется надежда, то и потом успеет обернуть голову вечным черным платком. Сумеречное утро скрадывало в тот час поседевшие волосы и печать глубоких горестей на лице матери — морщины, глубоко избороздившие печальное чело. Ее глаза повлажнели в тот миг, и она тяжело вздохнула. Думала ли, гадала ли, что и такое придется пережить. Но затем собралась с духом. «Ашвадан ля илла хиль алла», — прошептала она первую строку молитвы (нет бога кроме бога) и с тем решительно направилась к верблюдице, осадила ее на подогнутые колени. Огрызаясь привычно для острастки, негромко покрикивая, Акмая неторопливо опустилась грудью на землю. Быстро перекинув переметные сумки через седло, Найман-Ана взобралась верхом на верблюдицу, понукнула ее, и та встала, выпрямляя ноги и вознося сразу хозяйку высоко над землей. Теперь Акмая поняла — ей предстоит дорога…

Никто в ауле не знал о выезде Найман-Аны и, кроме заспанной свояченицы-прислуги, то и дело широко зевавшей, никто не провожал ее в тот час. Ей она еще с вечера сказала, что поедет к своим торкунам — родственникам по девичеству — погостить и что оттуда, если будут паломники, отправится вместе с ними в кипчакские земли, поклониться храму святого Яссави…

Она выехала пораньше, чтобы никто не докучал расспросами. Удалившись от аула, Найман-Ана повернула в сторону сарозеков, смутная даль которых едва угадывалась в неподвижной пустоте впереди…

Поезда в этих краях шли с востока па запад и с запада на восток.

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки. Серединные земли желтых степей…

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана.

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток…

С борта авианосца «Конвенция» пошла еще одна шифрованная радиограмма космонавтам-контролерам на орбитальную станцию «Паритет». В этой радиограмме в том же категорически-предупредительном тоне предлагалось не вступать с паритет-космонавтами 1-2 и 2-1, пребывающими вне Солнечной Галактики, в радиосвязь с целью обсуждения времени и возможности их возвращения на орбитальную станцию, впредь ждать указаний Обценупра.

На океане штормило вполсилы. Авианосец заметно покачивало на волнах. Бурунила, играла тихоокеанская вода вдоль кормы гигантского судна. А солнце все так же сияло над морским простором, охваченным бесконечно вскипающим белопенистым движением волн. Ветер струился ровным дыханием.

Все службы на авианосце «Конвенция», включая авиакрыло и группы безопасности государствен-ных интересов, были начеку — в полной готовности…

Уже не первый день, монотонно подвывая на ходу и едва слышно пришаркивая, трусила рысцой белая верблюдица Акмая по логам и равнинам великой сарозекской степи, а хозяйка все погоняла и понукала ее по горячим пустынным землям. Лишь на ночь останавливались они у редкого колодца. А с утра снова поднимались на поиски большого верблюжьего стада, затерявшегося в бесчисленных складках сарозеков. Именно в этой части Серединных земель, неподалеку от протянувшегося на многие километры краснопесчаного обрыва Малакумдычап, повстречали недавно проезжие купцы того пастуха-манкурта, которого теперь разыскивала Найман-Ана. Вот уже второй день кружила она вокруг да около Малакумдычапа, боясь наткнуться на жуаньжуанов, но сколько она ни вглядывалась, сколько ни рыскала, всюду была степь да степь, обманчивые миражи. Однажды уже поддавшись такому видению, проделала большой извилистый путь к воздушному городу с мечетями и крепостными стенами. Может быть, там ее сын, на невольничьем рынке? И тогда она могла бы усадить его на Акмаю позади себя, и пусть попробовали бы их догнать… Тягостно было в пустыне, оттого и примерещилось такое.

Конечно, найти человека в сарозеках дело трудное, человек здесь песчинка, но если при нем большое стадо, занимающее на выпасе обширное пространство, то рано или поздно заметишь с краю животное, а потом найдешь других, а при стаде пастуха. На то и рассчитывала Найман-Ана.

Однако пока нигде ничего не обнаружила. И уже начала опасаться, а не перегнали ли то стадо в другое место или более того — не отправили ли жуаньжуаны этих верблюдов всем гуртом на продажу в Хиву или Бухару. Вернется ли тогда тот пастух из столь далеких краев?.. Когда мать выезжала из аула, томимая тоской и сомнениями, об одном только и мечтала — лишь бы увидеть в живых сына, пусть будет он манкурт, кто угодно, пусть не помнит ничего и не соображает, но пусть будет то ее сын, живой, просто живой… Разве этого мало! Но, углубляясь в сарозеки, приближаясь к месту, где мог оказаться тот пастух, которого встретили недавно проходившие здесь караваном торговцы, все больше боялась увидеть в сыне умственно изувеченное существо, страх тяготил и угнетал ее. И тогда она молила бога, чтобы то был не он, не ее сын, а другой несчастный, и готова была беспрекословно примириться с тем, что сына нет и не может быть в живых. А едет она лишь для того, чтобы взглянуть на манкурта и убедиться, что сомнения ее напрасны, и, убедившись, вернется, и перестанет терзаться, и будет доживать свой век, как угодно будет судьбе… Но потом снова поддавалась тоске и желанию отыскать в сарозеках не кого-нибудь, а именно своего сына, что бы то ни значило…

В этом противоборстве чувств она вдруг увидела, перевалив через пологую гряду, многочисленное стадо верблюдов, вольно выпасавшихся по широкому долу. Бурые нагульные верблюды бродили по мелкому кустарнику и зарослям колючек, обгрызая их верхушки. Найман-Ана приударила свою Акмаю, пустилась со всех ног и вначале прямо-таки захлебнулась от радости, что наконец-то отыскала стадо, потом испугалась, озноб прошиб, до того страшно стало, что увидит сейчас сына, превращенного в манкурта. Потом снова обрадовалась и уже не понимала толком, что с ней происходит.

Вот оно пасется, стадо, но где же пастух? Должен быть где-то здесь. И увидела на другом краю дола человека. Издали не различить было, кто он. Пастух стоял с длинным посохом, держа на поводу позади себя верхового верблюда с поклажей, и спокойно смотрел из-под нахлобученной шапки на ее приближение.

И когда приблизилась, когда узнала сына, не помнила Найман-Ана, как скатилась со спины верблюдицы. Показалось ей, что она упала, но до того ли было!

— Сын мой, родной! А я ищу тебя кругом! — Она бросилась к нему как через чащобу, разделявшую их. — Я твоя мать!

И сразу все поняла и зарыдала, топча землю ногами, горько и страшно, кривя судорожно прыгающие губы, пытаясь остановиться и не в силах справиться с собой. Чтобы устоять на ногах, цепко схватилась за плечо безучастного сына и все плакала и плакала, оглушенная горем, которое давно нависло и теперь обрушилось, подминая и погребая ее. И, плача, всматривалась сквозь слезы, сквозь налипшие пряди седых мокрых волос, сквозь трясущиеся пальцы, которыми размазывала дорожную грязь по лицу, в знакомые черты сына и все пыталась поймать его взгляд, все еще ожидая, надеясь, что он узнает ее, ведь это же так просто — узнать собственную мать!

Но ее появление не произвело на него никакого действия, точно бы она пребывала здесь постоянно и каждый день навещала его в степи. Он даже не спросил, кто она и почему плачет. В какой-то момент пастух снял с плеча ее руку и пошел, таща за собой неразлучного верхового верблюда с поклажей, на другой край стада, чтобы взглянуть, не слишком ли далеко убежали затеявшие игру молодые животные.

Найман-Ана осталась на месте, присела на корточки, всхлипывая, зажимая лицо руками, и так сидела, не поднимая головы. Потом собралась с силами, пошла к сыну, стараясь сохранить спокойст-вие. Сын-манкурт как ни в чем не бывало бессмысленно и равнодушно посмотрел на нее из-под плотно нахлобученной шапки, и что-то вроде слабой улыбки скользнуло по его изможденному, начерно обветренному, огрубевшему лицу. Но глаза, выражая дремучее отсутствие интереса к чему бы то ни было на свете, остались по-прежнему отрешенными.

— Садись, поговорим, — с тяжелым вздохом сказала Найман-Ана.

И они сели на землю.

— Ты узнаешь меня? — спросила мать.

Манкурт отрицательно покачал головой.

— А как тебя звать?

— Манкурт, — ответил он.

— Это тебя теперь так зовут. А прежнее имя свое помнишь? Вспомни свое настоящее имя.

Манкурт молчал. Мать видела, что он пытался вспомнить, на переносице от напряжения выступили крупные капли пота и глаза заволоклись дрожащим туманом. Но перед ним возникла, должно, глухая непроницаемая стена, и он не мог ее преодолеть.

— А как звали твоего отца? А сам ты кто, откуда родом? Где ты родился, хоть знаешь?

Нет, он ничего не помнил и ничего не знал.

— Что они сделали с тобой! — прошептала мать, и опять губы ее запрыгали помимо воли, и, задыхаясь от обиды, гнева и горя, она снова стала всхлипывать, тщетно пытаясь унять себя. Горести матери никак не трогали манкурта.

— Можно отнять землю, можно отнять богатство, можно отнять и жизнь,проговорила она вслух, — но кто придумал, кто смеет покушаться на память человека?! О господи, если ты есть, как внушил ты такое людям? Разве мало зла на земле и без этого?

И тогда сказала она, глядя на сына-манкурта, свое знаменитое прискорбное слово о солнце, о боге, о себе, которое пересказывают знающие люди и поныне, когда речь заходит о сарозекской истории…

И тогда начала свой плач, который и поныне вспоминают знающие люди:

— Мен ботасы олген боз мая, тулыбын келип искег[[11]](http://rulibs.com/ru_zar/prose_classic/aytmatov/2/notes.html#note11).

И тогда вырвались из души ее причитания, долгие безутешные вопли среди безмолвных бескрайних сарозеков…

Но ничто не трогало сына ее, манкурта.

И тогда решила Найман-Ана не расспросами, а внушением попытаться дать ему узнать, кто он есть.

— Твое имя Жоламан. Ты слышишь? Ты — Жоламан. А отца твоего звали Доненбай. Разве ты не помнишь отца? Ведь он тебя с детства учил стрелять из лука. А я твоя мать. А ты мой сын. Ты из племени найманов, понял? Ты найман…

Все, что она говорила ему, он выслушал с полным отсутствием интереса к ее словам, как будто бы речь шла ни о чем. Так же он слушал, наверно, стрекот кузнечика в траве.

И тогда Найман-Ана спросила сына-манкурта:

— А что было до того, как ты пришел сюда?

— Ничего не было, — сказал он.

— Ночь была или день?

— Ничего не было, — сказал он.

— С кем ты хотел бы разговаривать?

— С луной. Но мы не слышим друг друга. Там кто-то сидит.

— А что ты еще хотел бы?

— Косу на голове, как у хозяина.

— Дай я посмотрю, что они сделали с твоей головой, — потянулась Найман-Ана.

Манкурт резко отпрянул, отодвинулся, схватился рукой за шапку и больше не смотрел на мать. Она поняла, что поминать о его голове никогда не следует.

В это время вдали завиднелся человек, едущий на верблюде. Он направлялся к ним.

— Кто это? — спросила Найман-Ана.

— Он везет мне еду, — ответил сын.

Найман-Ана забеспокоилась. Надо было поскорее скрыться, пока объявившийся некстати жуаньжуан не увидел ее. Она осадила свою верблюдицу на землю и взобралась в седло.

— Ты ничего не говори. Я скоро приеду, — сказала Найман-Ана.

Сын не ответил. Ему было все равно.

Найман-Ана поняла, что совершила ошибку, удаляясь верхом через пасущееся стадо. Но было уже поздно. Жуаньжуан, едущий к стаду, конечно, мог заметить ее, восседающую на белой верблюдице. Надо было уходить пешком, прячась между пасущимися животными.

Удалившись изрядно от выпаса, Найман-Ана заехала в глубокий овраг, поросший по краям полынью. Здесь она спешилась, уложив Акмаю на дно оврага. И отсюда стала наблюдать. Да, так оно и оказалось. Углядел-таки. Через некоторое время, погоняя верблюда рысью, показался тот жуаньжуан. Он был вооружен пикой и стрелами. Жуаньжуан был явно озадачен, недоумевал, оглядываясь по сторонам, — куда же девался верховой на белом верблюде, замеченный им издали? Он не знал толком, в каком направлении двинуться. Проскочил в одну сторону, потом в другую. И в последний раз проехал совсем близко от оврага. Хорошо, что Найман-Ана догадалась затянуть платком пасть Акмаи. Не ровен час верблюдица подаст голос. Скрываясь за полынью на краю обрыва, Найман-Ана разглядела жуаньжуана довольно ясно. Он сидел на мохнатом верблюде, озираясь по сторонам, лицо было одутловатое, напряженное, на голове черная шляпа, как лодка, с концами, загнутыми вверх, а сзади болталась, поблескивая, черная, сухая коса, плетенная в два зуба. Жуаньжуан привстал на стременах, держа наготове пику, оглядывался, крутил головой, и глаза его поблескивали. Это был один из врагов, захвативших сарозеки, угнавших немало народа в рабство и причинивших столько несчастий ее семье. Но что могла она, невооруженная женщина, против свирепого воина-жуаньжуана? Но думалось ей о том, какая жизнь, какие события привели этих людей к такой жестокости, дикости — вытравить память раба…

Порыскав взад-вперед, жуаньжуан вскоре удалился назад к стаду.

Был уже вечер. Солнце закатилось, но зарево еще долго держалось над степью. Потом разом смерклось. И наступила глухая ночь.

В полном одиночестве Найман-Ана провела ту ночь в степи где-то недалеко от своего горемыч-ного сына-манкурта. Вернуться к нему побоялась. Давешний жуаньжуан мог остаться на ночь при стаде.

И к ней пришло решение не оставлять сына в рабстве, попытаться увезти его с собой. Пусть он манкурт, пусть не понимает что к чему, но лучше пусть он будет у себя дома, среди своих, чем в пастухах у жуаньжуаней в безлюдных сарозеках. Так подсказывала ей материнская душа. Примириться с тем, с чем примирялись другие, она не могла. Не могла она оставить кровь свою в рабстве. А вдруг в родных местах вернется к нему рассудок, вспомнит вдруг детство…

Наутро Найман-Ана снова села верхом на Акмаю. Дальними, кружными путями долго подбиралась она к стаду, продвинувшемуся за ночь довольно далеко. Обнаружив стадо, долго всматривалась, нет ли кого из жуаньжуаней. И лишь убедившись, что никого нет, они окликнула сына по имени:

— Жоламан! Жоламан! Здравствуй!

Сын оглянулся, мать вскрикнула от радости, но тут же поняла, что он отозвался просто на голос.

Снова пыталась Найман-Ана пробудить в сыне отнятую память.

— Вспомни, как тебя зовут, вспомни свое имя! — умоляла и убеждала она. — Твой отец Доненбай, ты разве не знаешь? А твое имя не Манкурт, а Жоламан[[12]](http://rulibs.com/ru_zar/prose_classic/aytmatov/2/notes.html#note12). Мы назвали тебя так потому, что ты родился в пути при большом кочевье найманов. И когда ты родился, мы сделали там стоянку на три дня. Три дня был пир.

И хотя все это на сына-манкурта не произвело никакого впечатления, мать продолжала рассказывать, тщетно надеясь — вдруг что-то мелькнет в его померкшем сознании. Но она билась в наглухо закрытую дверь. И все-таки продолжала твердить свое:

— Вспомни, как твое имя? Твой отец Доненбай!

Потом она накормила, напоила его из своих припасов и стала напевать ему колыбельные песни.

Песенки ему очень понравились. Ему приятно было слушать их, и нечто живое, какое-то потепление появилось на его застывшем, задубелом до черноты лице. И тогда мать стала убеждать его покинуть это место, покинуть жуаньжуаней и уехать с ней к своим родным местам. Манкурт не представлял себе, как можно встать и уехать куда-то, — а как же стадо? Нет, хозяин велел все время быть при стаде. Так сказал хозяин. И он никуда не отлучится от стада…

И снова в который раз пыталась Найман-Ана пробиться в глухую дверь сокрушенной памяти и все твердила:

— Вспомни, ты чей? Как твое имя? Твой отец Доненбай!

Не заметила мать в напрасном тщании, сколько времени прошло, только спохватилась, когда на краю стада опять появился жуаньжуан на верблюде. В этот раз он оказался гораздо ближе и ехал спешно, погоняя все быстрее. Найман-Ана не мешкая села на Акмаю. И пустилась прочь. Но с другого края наперерез показался еще один жуаньжуан на верблюде. Тогда Найман-Ана, разгоняя Акмаю, пошла между ними. Быстроногая белая Акмая вовремя вынесла ее вперед, а жуаньжуаны преследовали сзади, крича и потрясая пиками. Куда им было до Акмаи. Они все больше отставали, трюхая на своих мохнатых верблюдах, а Акмая, набирая дыхание, неслась по сарозекам с недосягаемой быстротой, унося Найман-Ану от смертельной погони.

Не знала она, однако, что, вернувшись, озлобленные жуаньжуаны стали избивать манкурта. Но какой с него спрос. Только и отвечал:

— Она говорила, что она моя мать.

— Никакая она тебе не мать! У тебя нет матери! Ты знаешь, зачем она приезжала? Ты знаешь? Она хочет содрать твою шапку и отпарить твою голову! — запугивали они несчастного манкурта.

При этих словах манкурт побледнел, серым-серым стало его черное лицо. Он втянул шею в плечи и, схватившись за шапку, стал озираться вокруг, как зверь.

— Да ты не бойся! На-ка, держи! — Старший жуаньжуан вложил ему в руки лук со стрелами.

— А ну целься! — Младший жуаньжуан подкинул свою шляпу высоко в воздух. Стрела пробила шляпу. — Смотри! — удивился владелец шляпы. — В руке память осталась!

Как птица, вспугнутая с гнезда, кружила Найман-Ана по сарозскскнм окрестностям. И не знала, как быть, чего ожидать. Угонят ли теперь жуаньжуаны весь гурт и с ним ее сына-манкурта в другое место, недоступное для нее, поближе к своей большой орде, или будут подстерегать ее, чтобы схватить? Теряясь в догадках, она продвигалась объездами по скрытным местам и высмотрела, очень обрадовалась, когда увидела, что те двое жуаньжуаней покинули стадо. Поехали прочь рядком, не оглядываясь. Найман-Ана долго не спускала с них глаз и, когда они скрылись вдали, решила вернуться к сыну. Теперь она во что бы то ни стало хотела увезти его с собой. Какой он ни есть

— не его вина, что судьба так обернулась, что изглумились над ним враги, но в рабстве мать его не оставит. И пусть найманы, увидев, как увечат нашественники плененных джигитов, как унижают и лишают их разума, пусть вознегодуют и возьмутся за оружие. Не в земле дело. Земли всем хватило бы. Однако жуаньжуанское зло нетерпимо даже для отчужденного соседства…

С этими мыслями возвращалась Найман-Ана к сыну и все обдумывала, как его убедить, уговорить бежать этой же ночью.

Уже смеркалось. Над великими сарозеками опускалась, незримо вкрадываясь по логам и долам красноватыми сумерками, еще одна ночь из бесчисленной череды прошлых и предстоящих ночей. Белая верблюдица Акмая легко и свободно несла свою хозяйку к большому табуну. Лучи угасающего солнца четко высветляли ее фигуру на верблюжьем межгорбье. Настороженная и озабоченная Найман-Ана была бледна и строга. Седина, морщины, думы на челе и в глазах, как те сумерки сарозекские, неизбывная боль… Вот она достигла стада, поехала между пасущимися животными, стала оглядываться, но сына не видно было. Его верховой верблюд с поклажей почему-то свободно пасся, таща за собой повод по земле…

— Жоламан! Сын мой, Жоламан, где ты? — стала звать Найман-Ана.

Никто не появился и не откликнулся.

— Жоламан! Где ты? Это я, твоя мать! Где ты?

И, озираясь по сторонам в беспокойстве, не заметила она, что сын ее, манкурт, прячась в тени верблюда, уже изготовился с колена, целясь натянутой на тетиве стрелой. Отсвет солнца мешал ему, и он ждал удобного момента для выстрела.

— Жоламан! Сын мой! — звала Найман-Ана, боясь, что с ним что-то случилось. Повернулась в седле. — Не стреляй! — успела вскрикнуть она и только было понукнула белую верблюдицу Акмаю, чтобы развернуться лицом, но стрела коротко свистнула, вонзаясь в левый бок под руку.

То был смертельный удар. Найман-Ана наклонилась и стала медленно падать, цепляясь за шею верблюдицы. Но прежде упал с головы ее белый платок, который превратился в воздухе в птицу и полетел с криком: «Вспомни, чей ты? Как твое имя? Твой отец Доненбай! Доненбай! Доненбай!»

С тех пор, говорят, стала летать в сарозеках по ночам птица Доненбай. Встретив путника, птица Доненбай летит поблизости с возгласом: «Вспомни, чей ты? Чей ты? Как твое имя? Имя? Твой отец Доненбай! Доненбай, Доненбай, Доненбай, Доненбай!..»

То место, где была похоронена Найман-Ана, стало называться в сарозеках кладбищем Ана-Бейит — Материнским упокоем…

* *Напишите эссе на тему «Размышления о манкуртах», раскрывая следующие вопросы:*
  + *Кто такой манкурт?*
  + *Общечеловеческие и нравственно-религиозные вопросы в легенде.*
  + *Почему так важна для человека память?*
  + *В каких ситуациях современный человек становится манкуртом?*
  + *Как человек может предотвратить свое превращение в манкурта?*